

Ольга Танган

1941-1943:

## эвакуация из Одессы в Ташкент\*

Из дневников Амшея Нюренберга и Нины Нелиной

### Дневник Нины Нелиной

*Война, Одесса, 1941*

Война нас застала в Одессе.

Хорошо помню день объявления войны. Мы жили у наших старых гостеприимных друзей – инженера Мишкиблита и его супруги. Я чистила клубнику к завтраку. Прибегает взволнованный отец и сообщает: «Сейчас будет говорить Молотов». Все мы собрались в комнату, где находился приемник. 12 часов. «Граждане и гражданки! На Советский Союз напали!» Голос Молотова звучал твердо и уверенно, но мы все почувствовали – произошло что-то страшное. У отца побледнели губы, мама расплакалась. «На нас напали немцы, – продолжал Молотов. – Объявлена война». Я не понимала, что значит это слово – «война». Потом я поняла.

Мы спешно бросились на вокзал за билетами в Москву. Надо было ехать домой. Что творилось на вокзале! Он напоминал встревоженный муравейник. Люди с искаженными лицами бежали от кассы к кассе. Отдыхающие из домов отдыха и санаториев стремились вырваться скорее домой.

Вдруг все хлынули на улицу. Я с папой очутилась на бульварчике возле вокзала. Началась воздушная тревога. Откуда-то примчались пожарная команда и скорая помощь. Люди, не пряча, стояли, задрав головы кверху, и смотрели в небо. Пролетели самолеты. Трудно было понять – наши это или немецкие. Возвращались мы пешком, трамваи не ходили.

---

\* Окончание. Начало в кн. 61.



А. Нюренберг. «Одесса. Полина на балконе». 1941

Вечером была вторая тревога. Мы по лестнице спустились к парадному входу с высоким куполом. Эхо усиливало громы от пушечных выстрелов. Я дрожала, но мне не было стыдно. «Как несправедлив мир, – думала я. – Что было нужно немцам? Где справедливость?» Но, как сказал ученый Вассерман: «У человечества нет органа для восприятия справедливости».

Припоминаю смешной случай. Мне дали свисток, чтобы оповещать наш дом о воздушной тревоге, так как сирен тогда еще не было. Я так постаралась, что у меня отобрали свисток, сказав, что я нервирую население.

Вспоминаю случай в Одессе с папой. Прощаясь с Одессой, папа взял этюдный ящик с красками и пошел на Ланжерон писать этюды. Как только он уселся и начал писать, к нему пристала группа мальчишек:

– Что ты тут делаешь, дядя? – обратились они к отцу. – Ты – шпион!

– Нет, – ответил отец. – Я – художник.

– Нет. Ты – шпион. Мы тебя арестуем.

И, собрав большую толпу людей, они потащили отца в НКВД. К счастью, там работал папин друг, бухгалтер Липсман. Увидев отца, он спросил удивленно: «Что случилось?». Отец ему рассказал историю ареста. Он рассмеялся и сказал: «Сейчас я их всех прогоню и тебя отпущу». Разогнав толпу и отпустив отца, он посоветовал ему во избежание неприятностей в такое время больше этюдов не писать.

Тогда народ заболел в острой форме «бдительностью». Я тоже отдала дань этому увлечению. Помню, как я три квартала бежала за одним человеком, который показался мне подозрительным.

\* \* \*

Через несколько дней мы выехали в Москву.

В вагоне было тесно и душно. Люди с сонными усталыми лицами в обнимку сидели на своих чемоданах и мешках. В окнах вагона уже встречались первые мрачные картины войны. На одном вокзале я видела большое пламя – горели вокзальные склады, на другом – полыхали товарные вагоны. Поезд наш мимо этих картин проходил с большой скоростью, и мне казалось, что все это я вижу в кино.

По дороге мы питались самыми фантастическими слухами. То нам сообщали, что «Киева как такового больше нет. Одни развалины». То же самое говорили об Одессе. А когда мы говорили: «Позвольте, ведь мы же из Одессы. Там все в порядке», – люди извинялись за неправильные сведения. Появились люди, которые безгранично лгали, стараясь создать неправильное впечатление о ходе войны.

*Москва. 1941*

Вот и Москва! Бурлящая, служебная, деловая, но не военная. В Москве нет этого тревожного, волнующего состояния, которое я наблюдала в Одессе.

Мною овладело желание непременно сделать что-то патристическое, совершить какой-нибудь подвиг.

Внешне Москва была все та же, только кое-где у домов стояли бочки с водой и ящики с песком. Подготовка на случай пожаров от бомб. Тревоги начались через месяц.



А. Нюренберг. «Эвакуация. В ожидании поезда». 1941

В Москве вскоре начались фашистские налеты и воздушные тревоги. Не стану умалчивать о том, что нас охватила паника. Без ложного стыда мать хватала противогаз, кричала «Амшей!» и, забыв о своем пороке сердца, вприпрыжку пускалась к метро\*. Я и отец семенили за ней. Однажды она наскочила на косяк стены, и долгое время у нее красовалась опухоль синеватого цвета.

Люди неслись как оголтелые, с бою брали эскалатор, и только когда уже были внизу, несколько успокоившись, раскланивались со знакомыми, раскладывали постели, вытаскивали еду и начинали заводить с соседями беседу. Тема была одна – передача фронтовых новостей. Народ удивительно быстро ассимилировался. Здесь же молодежь флиртовала, заводила романы.

\* Дом художников на Верхней Масловке, где жили Нюренберги, находится около метро «Динамо».

Запомнилась одна влюбленная пара. Она спала на газетах, положив свои живописные головы на рельс. Минуту я постояла около них, стараясь запомнить их беззаботные счастливые лица. Каким радостным покоем они дышали!

Из метро выходили обычно в 7 часов утра. Опять улыбочное лицо розовощекого милиционера и опять его призыв: «Граждане, не толпитесь! Спокойнее. Все выйдете».

За дверью нас встречало чудесное утро московской осени. Золотистое солнце, свежее голубое небо и одетый в оранжевые и желтые наряды Петровский парк.

Как не похож этот тихий радостный пейзаж на вчерашнюю вечернюю природу в часы воздушной тревоги!

Мы медленно шли домой. Останавливались и вглядывались в красоту московской осени и глубоко вдыхали ее утренний свежий воздух. Опять вспоминала Пушкина – «и равнодушная природа. Красою вечною сиять». Что ей наши страдания, переживания! У ворот нашего дома мы слышали звуки скрипки. Уличное радио передавало музыку Чайковского и Грига. Играл Давид Ойстрах. Потом пела Нечецкая\*. Хорошо пела! Звуки скрипки и песни певицы неслись по улице и парку, мягко окутывая праздничные деревья, казавшиеся красивой театральной декорацией.

Все это время было тяжелое. Днем работа, ночью тревоги. Все сказывалось на нервах. Постепенно многие стали отказываться от метро, предпочитая сидеть дома или спать в своих постелях.

Несколько раз я дежурила дома. Помню, как один раз после тревоги я и Люда Антонова бросились по направлению к Белорусскому вокзалу. Мы бежали, а впереди и сзади тоже бежали люди. Небо, воздух почернели от дыма. Трудно было дышать. Все бежали молча. Наконец вокзал, мост. Навстречу нам неслись люди с красными глазами и открытыми ртами. Страшные лица! Мною овладело чувство жадности впечатлений, какое-то болезненное любопытство. Взрывались цистерны с бензином, а мы все стояли и смотрели.

Обратно мы шли медленно, с достоинством. Курили по очереди папиросы, которые нам давали прохожие. Ну и влетело нам

---

\* Дебора Пантофель-Нечецкая (1905-1998) – русская оперная певица (колоратурное сопрано), пианистка, музыкальный педагог.

дома! Наши мамы бегали по улице и кричали: «Неля! Люда!». А когда нас наконец увидели, то бранили до хрипоты.

\* \* \*

Все художники и скульпторы, жившие в нашем доме на Верхней Масловке, были мобилизованы на патриотическую работу: копание траншей, или, как их тогда называли, «щелей». Были организованы бригады, в каждой из которых было десять-двенадцать человек. Я также записалась в одну из бригад. Работала я, как все художники, с большим увлечением. Зная, что я певица и учусь в школе Гнесиных, моя бригада просила, чтобы я часто напевала, доказывая мне, что я своим пением поддерживаю рабочий энтузиазм. Охотно пела. Конечно, часто пела известную песню волжан «Эй, ухнем».

Вспоминаю одну интересную мелочь. Когда начальник работ какой-то военный предложил художникам для покрытия траншей принести ненужные старые работы, энтузиасты нанесли гору натюрмортов и пейзажей. По этому поводу некий юморист сказал: «Впервые наша живопись приносит стране настоящую пользу».

\* \* \*

Так шли дни за днями. Дела наши на фронте были нерадостные. Радио приносило каждый день печальные новости. Помню морозное утро, в 6-7 часов в нашу квартиру входит дворник и говорит тихим отсыревшим голосом: «Фронт-то прорвали. Плохи дела. Беда!».

Я хотела к нему рвануться и ему в лицо бросить: «Неправда!». Как тоскливо сжалось сердце. Не может быть, твердила я себе. Ведь у нас такие смелые, самопожертвованные люди! Ведь русский народ способен на небывалые подвиги, геройства! Почему же мы не сумели задержать врага? Почему мы безвольно отступаем? Ведь если Москва падет, это ответственность перед потомками, перед историей... Это не может быть. Не должно быть!

Люди устремились к вокзалам, чтобы спастись, во что бы то ни стало! «Спастись! Животное чувство», – думала я.

Москвичи пешком, в грузовиках, на крышах трамваев, автобусов ехали к вокзалам. Кондуктора бросали составы трамваев. Было стыдно за людей, за нашу родину, за это священное слово «патриотизм»! Все было в грязи. На лицах был тупой страх. Желание жить и мелкие корыстные интересы.

### *Эвакуация*

По приказу правления МОСХа все пожилые члены Союза должны были эвакуироваться. Отец был в числе пожилых.

16 октября мать, упаковав вещи и необходимые продукты и погрузив их на грузовик, поехала на Курский вокзал. Падал небольшой мокрый снежок. Отец и я на вокзал поехали в автобусе.

Площадь Курского вокзала представляла собой невеселое зрелище. Привезенные вещи сваливались в кучи. Рядом с ними с желтыми усталыми лицами стояли их владельцы. Тут были чиновники, служащие, люди от искусства, учащиеся и просто обыватели.

Как только мы на посланные газеты сложили наши вещи, началась воздушная тревога. Мы побросали вещи и бросились в ближайший двор, чтобы укрыться.

Уехать в этот день нам не удалось. Пришлось погрузить свои вещи на грузовик, поехать к жившей недалеко от вокзала родственнице и у нее переночевать. На следующий день рано утром мы опять были на вокзальной площади. Все та же картина: те же горы вещей и те же усталые выцветшие люди.

За организацию посадки в поезд взялась неутомимая мать. Увидев поданный к вокзалу пустой состав, мать лихо бросилась к нему. Нашла подходящий вагон, потом побежала за нами. Через час вещи были погружены.

Наконец посадка закончилась, и мы, стоя в тамбуре вместе с работниками ВЦСПС, тронулись в путь. Целую ночь мы кружили по окружной дороге. Поезд наш обстреливался. Недалеко от нас сшибли немецкий самолет, и поезд двинулся. Мы были счастливы. Мы ехали, думала я, а сколько людей ушло из Москвы пешком с рюкзаками за спиной.

Путь мы держали на Ташкент. Холод, бессонница, усталость, невозможность встать и вздохнуть. Вот воспоминания о первых

дней езды. Потом начались путанные маневры поезда – то у него было одно направление, то другое. Пришлось пересаживаться.

Были страшные незабываемые минуты. Ночь, ледяной ветер и дождь со снегом. Мы на перроне какого-то вокзала. Вещи в грязи. Нас никуда не сажают.

Наконец сели и доплелись до Пензы. Там на вокзале несколько суетливых человек покупали вагон. Вагон был загажен, но никто об этом не думал. Посадка была тайной. Все мрачно молчали. Мы в числе счастливых также попали в вагон.

И вдруг налетевшее горе – матери сделалось плохо. Сердечный припадок. Она просит горячей воды. Взять ее негде. Приходится слезать.

Батраки – волжский городок. Неприветливый и хмурый. Домики – точно инвалиды. Окошки маленькие, будто подслеповатые, обращены к Волге.

Сижу на чемодане, грустно гляжу на побледневшую мать и решаю, что делать. Надо срочно овладеть одной из изб, перенести туда все чемоданы и узлы. Напоить мать горячим крепким чаем и уложить ее спать... Поживем в избе денька два, а потом – поедем дальше. Только так.

Не теряя времени, бегу в городок. Нашла гостеприимную избу и стучу в дверь. Дверь открывают два голубоглазых мальчика. Узнаю: старшего – лет одиннадцати-двенадцати зовут Колей, младшего лет десяти – зовут Аликом. Я рассказала им, зачем к ним пришла.

– Мамы нет, – говорит мне Коля, – ушла еще утром за хлебом. Отец на фронте, но вы можете зайти к нам.

Я побежала за своими. Когда мы с узлами и чемоданами устроились на кухне около печки, усталость свалила нас с ног, и мы, упав на свои вещи, сейчас же уснули. И вдруг сквозь сон я услышала пение. Чудесный звонкий голосок. С трудом приоткрыла глаза и вижу поющего Алика. Алик все пел, окутывая каждую песню детской нежностью и свежестью. «Ты гуляй, мой конь, гуляй», «Есть на Волге утес» и другие песни...

– Алик, дорогой мальчик, – сказала я ему, – ты чудесно поешь. Какой тебе сделать за пение подарок?

– Дайте мне, тетя, кусок сахару, – ответил он.



Пришла мать. В ее руках корзина, в которой две буханки черного хлеба. Познакомилась с матерью и подружилась с ней.

Я угощала Алика сахаром, а он мне все пел. Через десять дней мы тепло попрощались с хозяйкой и ее голубоглазыми мальчиками. Грустно было прощание. Особенно когда я крепко пожалла ручку удивительного Алика, хорошо сознавая, что больше я его никогда не увижу.

Десять дней мы прожили в этом городке. Мать отдышалась, и мы, оправившись, поехали дальше.

В поезде какой-то молодой человек с лицом провинциального артиста усердно за мной ухаживал. В дороге недостатка в симпатиях ко мне не было.

С нами в вагоне ехали студенты с профессорами. Они, совершенно потеряв чувство стыда и уважение к авторитетам, грызлись, как собаки. У всех, чувствовалось, был девиз французского короля Людовика XV: «После меня хоть потоп».

В теплушке было холодно. И на остановках наши пассажиры совершали набеги за дровами. Таскали заборы, шпалы и все, что могло гореть.

У простудившейся матери началась мучительная болезнь – катар горла. Я с папой, как более тепленькие, калорийные, начали почесываться.

### *Ташкент. 1942*

Наконец началась долгожданная Азия. Ташкент, рисовала я себе, город красивый: теплые тона преобладают во всем. Дома, небо, халаты, зелень, солнце – все искрится и играет...

Сдаем вещи, едем в город. У нас было много приятелей в Ташкенте из ранее эвакуированных, но мы никому не были нужны. Грязные, жалкие и вшивые. Ведь мы месяц ехали в Ташкент. В Ташкенте, мы узнали, свирепствует сыпняк. Отец ушел куда-то, а мы с матерью сидим на вокзале и плачем. Как это все горько! Все боятся нас, опасаясь заразы. На улице гнилой дождь. Нудная ташкентская зима. Грязь, слякоть, пронизывающая сырость...

Я, когда уезжала, хотела привезти из Ташкента какие-нибудь реликвии на память и, подумав, решила, что кроме фотоснимков ташкентской зимы – везти нечего. Как странно, ведь город юж-



А. Нюренберг. «Праздничный день в Ташкенте». 1942

ный, много зелени, солнца. Летом он такой яркий, искрящийся. Преобладают во всем теплые тона. А яркое впечатление от Ташкента создается от зимы и поздней осени.

Устроились мы в общежитии. Через несколько дней я нашла удивительную комнату, правда, с первобытными хозяевами. Фамилия их Зайцевы. Но какие это были люди! Герои Достоевского – невинные младенцы по сравнению с ними. Воры и проститутки – таков социальный облик семьи. Состав ее – шесть человек. Все совершеннолетние. Работник один. Самое грустное и смешное, как постепенно деформировалась наша комната. Исчез телефон, потом рояль, ковры, мягкая мебель, стол и т. д. И все это делалось медленно, постепенно, с роковой неизбежностью. Чемоданы свои мы держали у приятелей, но даже такие

вещи, как шляпы, чулки и полотенца, необходимые в обиходе, и те бесследно исчезали. Однажды нас навестил кинорежиссер Разумный\*, старый друг отца (он приехал из Сталинабада). Мама решила накормить его мясным бульоном, готовили мы на мангалке. Но стоило матери отойти от мангалки на полминуты, и мясо исчезло из кастрюли. Пришлось примириться с этим и есть пустой суп. Можно привести еще сотню примеров, характеризующих эту семейку.

Каждое утро для нас было мучительным. Мы вылезали из-под влажных от сырости простыней, и начинался день. Пасмурный, тяжелый, тоскливый. На базар мы выносили все: отрезки, ковры, туфли, белье, простыни... Наш реквизит становился все меньше и меньше. Наконец нам уже нечего было выносить. Тогда в ход пошли такие мелкие обиходные вещи, как посуда. Деньги тратились только на муку.

Самое счастливое время это завтрак. Папа приносит мокрый тяжелый хлеб, мама готовит кофе. Мы все садимся вокруг домированного стола и священнодействуем. Мы съедали, конечно, всю суточную норму, но в эти минуты мы ни о чем не думали. Мы были счастливы. Как мало человеку нужно, чтобы считать себя счастливым. Тогда я начала понимать, что это слово – растяжимое понятие. Иногда человеку достаточно хлеба, и он счастлив, а иногда ему мало вселенной.

Наши усилия, наши ожесточенные старания были борьбой за право жить. Редко, очень редко мы были сыты. В городе царил голод, сыпняк и прочие неизменные горести, которые всегда сопровождают войну.

Бедные, дорогие мои родители! Как сейчас помню их внешний вид, их облик в то время. Мама всегда с закопченными от мангалки руками, с красивым, но уставшим и серым лицом. В каком-то невероятном наряде из кофточек и юбок, надетых одна на другую. У нас всегда было холодно. Папа опустившийся, грязненький. Но это только внешне. Как он работал в эти годы! Как продуктив-

---

\* Александр Разумный (1891-1972) – один из пионеров советского кинематографа, режиссер фильмов «Мать» (1919), «Тимур и его команда» (1940), «Миклухо-Маклай» (1947) и др. Друг детства Нюрнберга, также родившийся в Елисаветграде и учившийся в Одесском художественном училище.

но творил! Он создал в Ташкенте серию несчастных, обездоленных людей. Как их называли узбеки – «выковыренных».

Наша комната, или, вернее, полкомнаты, была отгорожена двумя ширмами. Сыро, темно, неуютно. Не верится, что все это мы выдержали, что все это уже позади. Какое тупое отчаяние охватывало нас в этой камере! Когда мы голодные, холодные ложились спать, чтобы не думать, а из-за ширмы с половинки хозяев раздавались матерщина, ругань или, еще хуже, пение эстрадных песен. Казалось, что мы на дне, глубоко, глубоко. И подняться, сделаться вновь человеком нет ни возможности, ни сил.

Однажды у меня на базаре украли сумку с карточками на целый месяц. Я не плакала. Мне только как-то стало холодно, скучно и появилось чувство неизбежности, что это так и должно быть. «Это урок жизни», – думала я. Домой идти было страшно. В это время были еще магазины, где продавался коммерческий хлеб, но очередь надо было занимать ночью. Это были незабываемые, страшные, фантастические картины. Ночь, ливень и люди, прижавшиеся друг к другу, кто под зонтом, кто под тряпкой. Проходит час, другой. Люди молчат, изредка перекидываются словом, кто-нибудь закурит, осветив соседа, и снова темень, ночь. Ох, эти мрачные тени людей, до сих пор их не забуду!

Мать с отцом, жалея меня, приходили ко мне на выручку, для смены. Выручили нас из беды студенты, которые решили мне помочь. Они доставали хлеб благодаря знакомству с продавщицами, и рано утром я заходила за своей порцией. Спасибо им! Правда, в нашем мире ничего не делается просто так. По вечерам они заходили ко мне, и я должна была долго прогуливаться с ними по нашему знаменитому Пешпекскому переулку и развлекать их разговорами о Москве.

В это же невеселое время я поступила в Ленинградскую консерваторию, которая была эвакуирована в Ташкент. Я училась у профессора Бриан. Это была умная предприимчивая женщина, которой не чужды были никакие женские слабости, «ничто человеческое не было ей чуждо». Она могла и поинтриговать, и похитрить, но женщина она была умная, толковая. С ней было очень интересно говорить. В прошлом она была замечательной актрисой. Бриан блистала в Париже и в Лондоне, и у нас в России.



А. Нюринберг. «Женщина и верблюд». 1942

Прошлое у нее было богато воспоминаниями, которыми она щедро делилась с нами – учениками. Когда же она что-нибудь показывала, то меня охватывала дрожь, и я чувствовала, как ее темперамент захлестывал меня. Я убеждена, когда актер хотя бы на минуту находится во власти вдохновения, публика это почувствует. Электричество пройдет сквозь толпу, и каждый вздрогнет от этого.

Как вокалистка она мне дала немного, но она первая после Вергини\* начала мне предсказывать большое будущее.

Я занималась и бегала на базар: по мере сил помогала матери и отцу. Отец работал в Союзе художников Узбекистана. Был членом президиума. Делал эскизы для агитационных плакатов. Мама набивала по трафарету плакаты.

Вставали мы рано утром. Отец уходил за пайковым черным хлебом, а мать с трогательной тщательностью пекла из розовой, крупного помола муки лепешки. Каждому по две лепешки. Мне они очень нравились, и я их быстро съедала. После весьма скромного завтрака меня начинали готовить к поездке в консерваторию.

Мать всю мою одежду тщательно и долго чистила керосиновым раствором, а отец мое пальто и берет осыпал нафталином (чтобы в трамвае ко мне не приставали тифозные насекомые). И я, благословляемая родителями, отправлялась на занятия в консерваторию.

Помню узбеков, которым мы преподносили наше искусство, очевидно, в таких больших дозах, что они отказывались его переваривать. Они могли спокойно разговаривать во время на-

\* Вергини – друг Нюринберга. Певец и знаток итальянской оперы.

шего исполнения или с улыбкой оглядывать всех. Сколько недоверия и равнодушия было в их лицах! Они безумно боялись, как бы европейцы их не обманули, и поэтому старались опередить нас в этом. Они так шумели во время разговора, что делалось противно. Они все более и более нагтели. У них появился какой-то нехороший тон, который нас возмущал, но против которого мы были бессильны бороться. Ибо мы были у чужих и, к тому же, у них в гостях.

Сейчас, когда говорят – Восток, экзотика, эти слова ассоциируются у меня с грязью, неуютностью и равнодушием соседей. Кроме того, много жестокости, которая свойственна народам Востока. Например, когда Ленинградскую консерваторию послали на сбор хлопка. Была осень, мы жили в плохих условиях. Ели два раза в день. Начинались холода, заморозки, а наши начальники, явные вредители, заставляли нас работать от зари до зари. Ведь мы все были профессионалы. Профессия каждого была необходима нашей родине.

Говорили о том, что надо сохранить кадры. Начальники с этим не считались. Им было приятно поиздеваться над беззащитными ребятами.

Были и случаи, когда наших учеников Ленинградской консерватории, мобилизованных для работ на хлопковых полях, заставляли выполнять непосильные и вредные работы. Дорого заплатили мы за это, несомненно, вредительское дело. Детей пианистов и скрипачей в морозные дни заставляли пальцами вытаскивать из коробочек примороженный хлопок. Ночевали дети в плохих неопрятных сараях. Многие простудились.

Я была одной из старших. Мы работали босиком, без обуви, без перчаток, плохо одетые. Все мы кашляли, чихали. Были морозы, пальцы мерзли, и мы не могли потом играть на рояле, а главное, мы приносили очень мало пользы. Ведь мы не умели так ловко вытаскивать покрытый морозом хлопок из коробочек, как это делали узбечки.

Вспоминается поездка с комсомольской бригадой вокруг Ташкента. Я считалась в нашей бригаде самой интересной. За мной ухаживало много ребят, но для меня в их ухаживаниях было



А. Нуренберг «Ташкент. В чайхане». 1942

что-то оскорбительное. Они относились ко мне как к женщине, а не как к девочке – любопытной девчонке.

Во время студенческих каникул в консерватории был сооружен агитпункт, военная комната. Но когда дней через десять я явилась в консерваторию, меня не пустили туда, сказав, что вся консерватория была загрязнена, и заниматься в ней нельзя.

Я некоторое время в Ташкенте увлекалась медициной, то есть я ходила в больницу «Скорой помощи» и помогала принимать больных. Присутствовала при операциях. Сколько я насмотрелась человеческих страданий! Сколько погибло в Ташкенте людей от голода, сыпняка и бандитизма! Сыпняк косил без разбора. Трупы не клали даже в гробы, а просто сваливали на телеги, как дрова, и отвозили на кладбище. А сколько пухло с голоду. Сколько я видела страшных, душу раздирающих сцен! Помню мальчика, которому ампутировали руку. Его сбросил с подножки трамвая милиционер. Это умный и черноглазый

мальчик. Сердце разрывалось, глядя на него. Пришла его мать, она прижимала морщинистые руки к груди и тихо приговаривала в ответ на утешение мальчика: «Я не плачу, я не плачу...». Это была очень тяжелая картина!

Сколько унижений мы вынесли во время нашей эвакуации! И от соседей, и от хозяев. Человек, какое ты выносливое животное!

Отец много работал, но мало зарабатывал. Мы с ним предприняли несколько поездок за Ташкент, в ближайшие кишлаки, чтобы достать продукты. Отец брал альбом, пастель и грифельки и рисовал узбечек, наделяя их неземной красотой. Они ему платили мукой, рисом и подсолнечным маслом. В Узбекистане есть чудная крупа маис. Она похожа на чечевицу, только вкуснее ее.

Бывали курьезы, когда узбечки отказывались принимать работу, где отец изображал их в профиль – «с одним глазом и с одним ухом». Чтобы польстить узбечкам, отец на их ушах рисовал богатой формы серьги. Эта невинная лесть несколько увеличивала получаемые за работу продукты.

Было бы неверно и несправедливо говорить о ташкентцах как о людях малогостеприимных. Были среди них люди, которые, сочувствуя нам в нашей беде, старались помочь нам, но таких, надо признаться, было немного. Большинство ташкентцев нас встречало сдержанно, холодно. На базарах, в магазинах и в кишлаках нас откровенно принимали как чужаков. Горестно и тяжело было нам.

Помогал нам Союз ташкентских художников. Отец писал там плакаты, а мать в мастерской набивала их трафаретом.

На праздники правление Союза всегда доставало для нас и наших детей дефицитные продукты. Одно время Союз сумел даже для художников открыть столовую, где мать была кассиршей. Но аппетит голодных художников быстро погубил эту гуманистическую затею.

#### *Возвращение из эвакуации в Москву*

Однажды, приехав с отцом из нашей поездки за продуктами, мы застали маму дома больной. У нее открылось кровотечение. Пришлось отвезти ее в больницу. Что это за учреждение – больница в Ташкенте! Как-то я ужасно поругалась с врачом.



Поправившись, мать заболела не менее тяжелой болезнью. Называлась она «тоской по дому».

В это время в наших военных делах произошел коренной перелом. После бесконечного трагического отступления мы, наконец, остановились. Вскоре начались наши победы. Робкие и небольшие сначала и ставшие такими героическими и грандиозными впоследствии. Как радостно билось сердце каждого гражданина СССР! С каким упоением мы стали слушать сводки. И вот, наконец, некоторые ответственные товарищи, обладающие недюжинными связями, стали постепенно отчаливать «до дому», в Москву.

Что творилось с мамой, когда до нее доходили слухи эти. Домой! Домой! Умирать, так только в своей постели!

Мы стали запрашивать Москву. Ответы получали неудовлетворительные. Знакомого Ваню Диева мы оставили у нас в квартире, чтобы он ее охранял. Его мобилизовали. В Москве у нас были три комнаты, благоустроенный быт, а тут полкомнаты и Зайцевы. Ох, эти Зайцевы!

Однажды утром пришла долгожданная телеграмма из Москвы от дяди Левы\*, с указанием обратиться в институт железнодорожников к Горюнову. И вот начались наши хлопоты об отъезде. Наши сборы продолжались около месяца. За это время мы припасли некоторые продукты. И, наконец, настал долгожданный лучезарный день. Мы сидели на вокзале, имея вызов из института, где папа делал проекты.

Друзья, провожавшие нас, не могли скрыть своих слез. Мы уезжали, а у них оставалось чувство горечи и одиночества. Не могу не вспомнить о замечательных друзьях, которые нас провожали. Фамилия их Мишкиблиты. Это очень старые друзья моих родителей. Еще из Одессы. Эти люди согревали, подкармливали нас в Ташкенте, и, может быть, благодаря им мы могли опять мужественно влачить свое жалкое существование.

Итак, мы наконец выбрались из этого города, в котором мы чувствовали себя такими несчастными.

В дороге мы были 15 дней. Во время путешествия мы с мамой развернули коммерческие способности. Мы покупали ведра-

---

\* Лев Нюренберг – брат Амшея Нюренберга, начальник типографии во ВХУТЕМАСе.



Нина Нелина и мать Полина Мамичева. Москва, Верхняя Масловка. 1948

ми соль, а потом меняли ее на маис. Что это были за авантюры! Не могу сказать, чтобы мы что-нибудь подрабатывали на этом, но весь этот процесс обмена был очень интересным и увлекательным. Я бегала на остановках и с хозяйственным азартом меняла, продавала и покупала, не забывая флиртовать.

Через 15 дней мы подъехали к нашей дорогой Москве, которая не была истоптана немецкими сапогами. Наши доблестные войска отстояли Москву. И она осталась такой же чистой, родной и близкой, как была!

Встречал нас дядя Лева. Поезд стал на станции Перово. Отец с вещами остался в вагоне, а мы с мамой понеслись домой. Вот он, наш дом, вот двор (забор снесли на дрова), вот наш подъезд. Лесенки, третий этаж. Вот! Наконец, наша квартира. Хотелось плакать, целовать стены. Хотелось после всех унижений крикнуть так, чтобы услышали в Ташкенте: «У нас тоже есть своя квартира!

Свое гнездо. И все, что в ней есть, – это наше». Как это приятно. Все же все люди – собственники. Это очень древний инстинкт.

Правда, в одной из комнат жили художники-эстонцы. Но мама так энергично их атаковала, что они вынуждены были сдаться и освободить наше помещение. Наше счастье, что это были не наши ребята, те ни за что бы без суда не освободили нам комнату.

Первое время нашего жительство в Москве мы никуда не ходили. Спали, кушали и опять спали. Все время нас окружали тишина, чистота, покой, отдых. Нам не хотелось видеть людей. Мы наслаждались одиночеством и... покоем.

Как хорошо!

